

ЮДО

Рано утром старик Мансур Мансуров постучал в дверь Леша Леонтьева.

– У меня там нога, Леша, – сказал Мансуров. – Пойдем-ка со мной, Леша, там у меня нога.

Леша Леонтьев хорошо знал старика Мансурова, человека, который не переменялся в лице, даже когда узнал о смерти Сталина. Тогда Мансуров только и сказал, глядя на плачущую жену: «Но куры-то все равно жрать хотят», – и вышел во двор, чтобы покормить птицу. Таким, как в это утро, старика не видел никто. У него дрожали губы и дергался глаз.

– Нога, – сказал Леша. – И что там у тебя с ногой, Мансур?

– С моей ничего. Это чужая нога, Леша.

– Ну пойдем, – сказал капитан, стирая мыло со щеки, – посмотрим на твою ногу.

– Это не моя нога, – возразил старик. – Чужая.

Леша накинул ватник – на улице было прохладно – и двинулся за Мансуровым. До дома старика было минут пять ходу.

Нога торчала из навозной кучи, рядом валялись вилы.

– Вилы твои? – Леша присел на корточки, потрогал коричневый ботинок.

– Вилы мои, – ответил старик, – а нога не знаю чья.

– Вижу, что не знаешь...

– Хотел навоз разбросать, а тут она...

Капитан взял вилы, подцепил пласт слежавшегося навоза и отбросил к ограде.

– Я тебе говорил, – сказал Мансуров. – Не моя нога.

– Это ж командир, – пробормотал Леша. – Это ж Сваровский...

Командирами в городке называли командированных – ревизоров, наладчиков, снабженцев, которые время от времени наезжали на бумажную фабрику. Этот Сваровский был наладчиком. Он приехал вместе с греком Жогло.

– Чем его так, а? – спросил Мансуров. – Вся голова пополам...

– Мансур, сбегай за Ноздриновым, – сказал Леша. – А я пока тут осмотрюсь.

Начальник милиции капитан Ноздринов был известным пьяницей и болел раком, и все ждали, что не сегодня-завтра начальником станет Леша.

– Тогда давай твоих закурим, – сказал старик.

Леша достал из кармана ватника коробку.

После повышения в звании Леонтьев стал курить папиросы «Люкс», по три рубля старыми за коробку, но мало кому удавалось одолжить у него дорогим табаком: для стрелков Леша держал грошовый «Север». Однако для Мансура он сделал исключение.

Когда старик ушел, капитан обошел кучу, присел, огляделся. Судя по следам на влажной земле, труп сюда притащили волоком. Сваровского ударили по голове, а потом приволокли в огород и закопали в навоз. Леша тщательно обследовал огород, спустился в низину, прорезанную полузаросшими мелиоративными канавами. Ударили Сваровского, скорее всего, топором, а кто ж станет выбрасывать топор? Топор – важная вещь, без нее в хозяйстве никуда. Орудия убийства Леша не нашел.

У Сваровского тоже был топор – привез с собой в сумке с инструментами. Топор был небольшой, со стальной рифленой ручкой. Сваровский даже в Красной столовой с ним не расставался и любил демонстрировать собутыльникам. Мужчины взвешивали топор в руке, качали головами: «Вещь». Дед Муханов, который никогда не расставался с сигаретой, набитой черным грузинским чаем, однажды спросил: «А почему продал бы?» «Не продается, – ответил Сваровский. – Немецкий, сталь – золинген, настоящая. Бриться можно». Мужики сошлись на том, что за такой топор и ста рублей не жалко – старыми, конечно.

Солнце начинало пригревать.

Леша присел на корточки перед навозной кучей. В правой руке Сваровского что-то было зажато. Капитан с трудом разогнул окаменевшие пальцы, взял кусок гребенки, украшенной фальшивыми жемчужинками, огляделся – вокруг никого – и спрятал в карман. Закурил.

Наконец приехал Ноздринов – рыхлое отечное лицо, огромное пузо, тонкие кривые ножки в хромовых сапогах, а с ним – усатый старшина Миколайчук и тощий сержант Петька Рыбаков, то и дело цыкавший слюной под ноги.

За заборами собирались любопытные.

– Увезить его надо, – просипел Ноздринов. – Машину надо.

– Подводу возьмем, – сказал Миколайчук. – Где ж мы машину сейчас найдем? А подвода есть, Сашка только что на склад поехал.

Белобрысый Сашка был конюхом, возчиком, экспедитором и грузчиком, доставлявшим товары в магазины со склада горторга. Склад, располагавшийся в кирхе, находился неподалеку – напротив Лешиного дома.

Ноздринов кивнул.

– Пойду, – сказал Леша. – Поищу Жогло этого, может, он что знает.

– Он вчера из гостиницы выписался, – сказала из-за забора Буяниха. – Оба выписались. У них сегодня поезд.

– Московский? – спросил Ноздринов.

– Китайский, – ответила Буяниха. – Семичасовой.

Леша посмотрел на часы – восемь. Значит, у них в запасе одиннадцать часов. Обычно в день отъезда командиры устраивали отвальную на фабрике или в Красной столовой.

– Сбегай-ка ты, Петька, к Светке, – сказал Леша, не глядя на Рыбакова. – Может, он у нее там? Или у Шарманки.

– Она мне жена, что ли? – Петька отвел взгляд. – Она мне даже не баба. Она мне нет никто.

Леша покраснел: в городке знали, что он захаживал и к Светке Чесотке, и к Шарманке, которые были известны своей безотказностью.

– Ты почему тут мне стоишь на хрен руки в брюки, а? – Ноздринов побагровел. – Тебе что старший по званию сказал, а? Он тебе сказал говно есть, что ли? Он тебе сказал дело делать!

Петька смутился, цыкнул слюной и ушел.

– Ты с ними поостроже, Алексей, – одышливо проговорил Ноздринов, вытирая лицо платком. – Особенно с Петькой. Его каждый день надо пидорасить, не то совсем парень оцыганится...

Начальник милиции никак не мог смириться с тем, что его подчиненный женился на цыганке.

– Ладно, – сказал Леша. – Ты бы поаккуратней, Николай Филиппыч, с твоим-то давлением...

– Ничего. – Ноздринов усмехнулся. – Вот понесут вперед медалями – и давление успокоится.

Леша знал, что Ноздринов уже расписал свои похороны: кто понесет перед гробом его фронтовые награды на бархатной подушечке, кто – венки, кто скажет речь, а кому на поминках не наливать ни под каким видом.

– Как там Катя-то? – спросил Леша, чтобы сменить тему.

Катя, старшая дочь Ноздринова, со дня на день должна была разродиться первенцем.

– Не родила пока, – ответил Ноздринов, глядя на мертвеца. – А ботинки у него хорошие. Такие ботинки хоронить жалко... кожа-то какая – чистое масло, а не кожа...

Леша объехал на мотоцикле городок, но ни на фабрике, ни в Красной столовой Жогло не нашел. Никто не знал, где этот грек. Утром он побывал на фабрике, отметил командировку и исчез, оставив в раздевалке две бутылки водки – прощальный подарок друзьям из электроцеха.

Вернувшийся Петька Рыбаков сказал, что Жогло нет и не было ни у Светки Чесотки, ни у Шарманки.

– Надо на вокзал ехать, – сказал Леша. – Жогло билет не сдавал.

– А почему ты с утра в телогрейке болтаешься? – строго спросил Ноздринов. – Ты офицер или ты мне тут лилипут из цирка? Здесь у нас милиция на хрен, а не бордель, чтоб в телогрейках тут бегать. Тебе что,

закон жизни не писан? Поезжай домой, переоденься. Чтоб как полагается у меня. Понял?

– Так точно, Николай Филиппыч, – ответил Леша.

– И возьми с собой кого-нибудь... Сырцова возьми – он трех медведей стоит...

– Это ты там, Леша? – крикнула из спальни старуха Латышева. – А это я тут!..

Леша открыл дверь. Старуха стояла на коленях перед комодом. Леонтьев попросил ее разобрать вещи покойной жены, и старуха второй день перерывала шкафы и комоды.

– Ася тебе обед сготовила, – сказала старуха не оборачиваясь. – И трусы эти я возьму... шелковые... чего ж не взять?

– А где сама?

– Ася-то? Да ушла. Так я возьму трусы? И эти. Из двоих трусов сошьем двое блузок... рукава пришьем и сошьем...

– Бери что хочешь. На чердаке сундук, посмотри, там, кажется, тоже есть что-то женское...

– Леша, сынок... – Старуха повернулась к нему. – Ну давай я тут хоть обои обдеру...

– Не надо – я сам. Потом...

Старуха Латышева, жившая наверху, Ольга Гофман и ее дочь Ася, которые обитали в доме по соседству, помогали Леонтьеву ухаживать за его парализованной женой Верочкой, готовили еду, стирали белье. В доме постоянно пахло лизолом и нашатырным спиртом. После похорон Верочки прошло больше недели, а Леша все никак не мог решиться отремонтировать комнату, где почти шестнадцать лет умирала его жена.

Они поженились весной 1941 года, и, когда Леша уходил на фронт, Верочка была уже беременна. Он воевал на Кавказе, под Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии и Восточной Пруссии. А Верочка осталась в деревне на оккупированной территории. Однажды, спасаясь от немцев и латышей, пришедших жечь деревню, она бежала в лес к партизанам и в суматохе потеряла сынишку. Каратели стреляли вслед беглецам, вокруг рвались мины, люди падали, кричали, бежали не разбирая дороги. Контуженная Верочка пришла в себя в партизанском госпитале и узнала, что сына ее не нашли. Никто не знал, остался ли он в живых, погиб ли. Через два года Верочка поселилась в землянке на окраине сожженной деревни. Поиски ребенка оказались безуспешными. Вернувшийся домой Леша нашел жену поседевшей и молчаливой. Она никого не узнавала. Спустя несколько месяцев, устав мыкаться по землянкам, супруги перебрались в Восточную Пруссию. А через год Верочка слегла и больше никогда не поднималась. «Это душевная болезнь, Леша, – сказал доктор Шеберстов. – Помрачение ума». Вскоре у Верочки начались проблемы с сердцем и почками, и врачи не могли ничем помочь.

Леша перекусил, побрился, надел милицейский мундир с погонами, повернулся к зеркалу боком, втянул живот. Вдохнул, надел фуражку.

– Надежда Сергеевна! – крикнул он, поправляя фуражку перед зеркалом. – Теть Надь!

– Аиньки? – Старуха вошла в кухню, прижимая к животу ворох тряпья.

– Ты что такое тюрьма, знаешь? – Леша наклонился к зеркалу и нахмурился: кажется, на носу намечался прыщик. – Знаешь или нет?

– Да скажу я ему, Леша, скажу!

– Вот и скажи. – Он выпрямился. – Самогоноварение – дело подсудное, статейное, а сын у тебя один...

– Дурак он, Леша, – вздохнула старуха. – Сорок лет, а ума нет. – Помялась, понизила голос. – Я ему тут жену присмотрела... хорошая женщина...

– С детьми?

– А что дети? У него у самого двое.

– Кто такая?

– Люся Касатонова.

– Которая за китайцем была?

– За киргизом, Леша.

– Люся – женщина самостоятельная, тетя Надь...

– А я с ней поговорила... она ничего...

– Ничего пойдет или ничего не пойдет?

– Да, говорит, почему бы и не пойти? Можно, говорит, и за Андрея.

– Так и сказала?

– Ну, говорит, пальто мне справите – пойду. Габардиновое.

– Габардиновое!

– А что поделаешь, Леша? Справлю. Сын все-таки.

– Сын... – Леша вздохнул. – Ладно, Надежда Сергеевна, пора мне, служба. А насчет самогона ты ему скажи, а то никакие киргизы ему не помогут. – Надел плащ, повел плечами, фыркнул. – Габардиновое! Совсем народ распустился... Она б еще шубу с тебя потребовала!

– Шуба... – Старуха вздохнула. – Она что – Ленин, что ли, чтобы шубу требовать?

Оба имели в виду одну и ту же шубу, единственную.

Напротив Лешиного дома в бывшей кирхе располагались склады горторга и промтоварный магазин. Главным товаром в магазине была шуба за тысячу сто рублей новыми. Эта шуба была мечтой всех женщин. Они приходили в магазин, чтобы просто ею полюбоваться. Всем хотелось подержать вещь в руках, примерить, повздыхать, поговорить о прекрасной шубе, позлиться на безденежье, позавидовать счастливым, которые могут позволить себе такую покупку. Ну, может, директор бумажной фабрики. Или генерал – командир ракетной бригады, размещавшейся на окраине городка. Или китобой Чижов, который любил рассказывать о том, как по возвращении из десятимесячного плавания прикуривал от четвертной за столиком в калининградском ресторане «Чайка». Этот Чижов купил «Волгу» и по воскресеньям катал на ней по очереди соседей. А кому еще по карману такое чудо – горностаевая шуба? И сколько ж на нее надо копить, если у тебя трое детей-школьников? А если еще и муж пьет? А если и поросята, которых надеялась продать с выгодой, только дрищут и дохнут? Отчаянная Ленка Уразова, сушильщица с бумфабрики, однажды не выдержала и при свидетелях от всего сердца плюнула на эту шубу: «Пусть ее Гитлер носит – нам такое все равно не по зубам!»

В зале ожидания железнодорожного вокзала было пусто.

Кассирша – костлявая Конституция Константиновна, тетя Костя, – сказала, что Жогло тут не объявлялся и билет не сдавал.

Леша заглянул в туалет – никого.

У водонапорной башни в конце перрона покурил младший сержант Сырцов – три медведя.

– До поезда семь минут, – сказал Леша. – Стоянка две минуты.

– А если он на автобусе уехал? – Сырцов отшвырнул окурок. – Или на попутке?

– Если – в кресле, – сказал сурово Леонтьев, – а мы с тобой на стуле. Ты стой здесь, а я к хвосту пройду.

– Чует мое сердце, что не был Петька сегодня у Чесотки, – сказал Сырцов. – И к Шарманке не ходил. Потому что если он к ним пойдет, а баба его про это узнает, то она ему яйца пообрывает – как вишни с веточки...

– Поезд, – сказал Леонтьев. – Смотри у меня тут.

И побежал по перрону к вокзалу.

Поезд простоял две минуты и ушел, а Жогло так и не объявился.

– Может, запил? – сказал Леша.

– А может, и его убили? – предположил Сырцов. – Билет до Москвы – девятнадцать рупчиков новыми, живые люди такими деньгами не бросаются...

– Это купе девятнадцать, – сказал Леша. – Плацкарт дешевле. Давай-ка все же прокатимся к Светке.

Светка Чесотка занимала половину домика возле мукомольного завода. В двадцать шесть лет эта бойкая рыжая бабенка лишилась мужа – его посадили на пятнадцать лет за убийство Виктора Гофмана. Ее адрес знали все «командиры» и холостые офицеры из частей, расквартированных в городке и окрестностях, а языка ее побаивались даже такие известные городские крикуньи, как Буяниха и Машка Геббельс. Зато овощи в ее огороде были отменные: морковь, которую выращивала Светка, женщины стеснялись брать в руки при свидетелях. Иногда на пару с соседкой и подружкой – безалаберной Шарманкой – Светка развлекалась стрельбой по каштану, который рос напротив ее дома. В громадной кроне этого каштана жили сотни ворон, и от грохота выстрела они с оглушительным криком поднимались в небо, опорожня при этом желудки. Завидев какого-нибудь своего врага из числа прежних ухажеров, Светка заряжала двустволку, оставшуюся от мужа, и ждала у открытого окна, когда тот окажется под кроной каштана, чтобы обрушить на мерзавца водопад птичьего дерьма.

Леша остановил мотоцикл подальше от каштана.

Крашенные окна Чесотки и некрашенные окна Шарманки были распахнуты настежь, слышно было, как заевшая игла подпрыгивает на патфонной пластинке.

– Не нравится мне это, – сказал Леонтьев. – Что думаешь, Сырцов?

Сырцов пожал плечами.

Они двинулись к дому, но не успели сделать и пяти шагов, как навстречу из двери вылетел толстяк Жогло – голый, босой, всклокоченный, с ружьем в руках.

– Брось оружие! – закричал Леша, хватаясь за кобуру и приседая. – Брось, кому говорю!

Жогло вскинул двустволку, но Сырцов оказался проворнее – он выстрелил первым. Жогло упал, забился на земле. Леонтьев подбежал к нему, схватил за плечи, перевернул – лицо Жогло превратилось в кровавую маску.

– Дядя Леша! – закричала Светка, высунувшаяся из окна. – Дядя Леша, миленький, он Катьку убил! Катьку-у!..

Леша обернулся. Сырцов никак не мог попасть пистолетом в кобуру – руки дрожали.

– Вези его в больницу, – приказал Леша. – Вот хрень-то... Сырцов! Кому говорю! Вези его в больницу! Ну же!

Сырцов наконец засунул пистолет в кобуру и бросился к Жогло.

Растрепанная и дрожащая Светка встретила Леонтьева в маленькой прихожей. Она крепко обняла Лешу. Из рта у нее текло – она не могла говорить.

Шарманка сидела в кухне, уронив разбитую голову в лужу крови, расплывшуюся на столе. Ее волосы, куски хлеба, ложки, тарелки, соль в чайной чашке – все было в крови. На полу валялся топор со стальной рифленой ручкой.

Леша снял с гвоздика полотенце, завернул в него топор.

Чесотка сидела на корточках, прислонившись лбом к стене, и по-прежнему вся дрожала.

– Эх, Светка, – сказал Леша, – Светка ты, Светка...

Вечером в Красной столовой начальника милиции капитана Ноздринова поздравляли с рождением внука.

– Три килограмма сто граммов, – с умилением повторял Ноздринов. – Ну девка! Ну молодец!

– А я сразу понял, что это Жогло, – сказал Петька Рыбаков. – У него на правой руке все пальцы одинаковые...

– Как это – одинаковые? – спросил Сырцов, пережевывая котлету.

– Одной длины, – пояснил Петька. – Я как увидел, так и понял. Ну, думаю, этот мужик что-нибудь да натворит...

– Как назвать-то решили? – громко спросил солидный Миколайчук.

– Пацана-то? – Ноздринов махнул рукой. – Да пусть сами решают!

– Не, имя – это важное дело, – возразил Миколайчук. – У нас вот тетку одну в деревне называли Революцией, так ее и убили...

– Как это убили? – спросил Леонтьев.

– Муж застал с хахалем – и убил.

– А революция тут при чем?

– Убили ж!

– Пусть хоть Димкой назовут, – продолжал Ноздринов. – Хоть Иваном...

– Иванами сейчас не называют, – сказал Петька. – Бабам Иваны не нравятся.

– А кто им нравится? – Миколайчук нахмурился. – Ты баб больше слушай, они тебе наговорят...

– Им Сергеи нравятся, – гнул свое Петька. – Владимиры и Сергеи.

– Георгий, – сказал Сырцов, вытирая рот рукой. – Георгий – вот это имя.

– Георгий? – наклонился к нему Ноздринов. – Как у Жукова? У маршала Жукова?

– Георгий, – с удовольствием повторил Сырцов, хлопая себя по животу. – У меня деда Георгием звали. Как даст в ухо – три дня звенит.

– Алексей Федорович... – Рядом с Леонтьевым села толстенная Феня, буфетчица. – А скажи мне, милый, страшно-то было, нет?

Леша усмехнулся, пожал плечами.

– Спроси Сырцова – он у нас герой.

– Откуда мне было знать, что у него ружье пустое? – Сырцов развел руками. – А если бы там была пуля? Или картечь?

– Да я у Светки давно всю дробь отобрал, – сказал Леонтьев. – И дробь, и картечь. Да ладно, не переживай ты, Сырцов!

– Товарищ Сырцов! – Ноздринов постучал вилкой по граненому стакану. – Ты не виноват, товарищ Сырцов. Ни грамма не виноват. Задержание задержанного произведено по всем законным правилам советского правосудия и закона. – Ослабился. – Плохо только, что ты ему в рожу попал. Доктор Шеберстов говорит, что языки пришивать пока не научился... – Хохотнул. – Это ж надо – пулей язык вырвать!

– Пуля – дура, – сказал Сырцов. – А зачем ему теперь язык? Пусть спасибо скажет, что живой остался. А без языка и без зубов можно до ста лет прожить...

– А как ты про топор-то догадался? – спросила Феня.

– А чего тут гадать? – Леонтьев закурил. – Топор-то у Сваровского был – сто рублей топор. Ты бы такой топор бросила? И я не бросил бы. Топор – это вещь. Сто рублей!

– Предмет, – согласился Ноздринов. – Георгий – мне нравится. Как Жуков. Но пусть сами называют. Как захотят, так и будет. Я сказал: ба-ста. – Пристукнул кулаком по столу. – Так и будет!

– Какая у вас работа, Алексей Федорович, жуткая, – сказала Феня, придвигаясь еще ближе к Леонтьеву. – Я бы со страху умерла. Легла бы и умерла, ей-богу! И он что же, Жогло-то, этим топором сперва одного кокнул, а потом и Шарманку? Ой, бедная...

– От зависти чего не сделаешь, – сказал Миколайчук. – Они же оба к Ольге Гофман подкатывались, тот и этот, так этому она дала отлуп, вот он и отомстил тому. Его же топором ему и отомстил.

– Шерлок Холмс тут у нас нашелся, – сказал Леша. – Ольга-то тут при чем?

– Везде бабы, Леша, – сказал Миколайчук, поднимая рюмку, – везде они.

– Она сегодня все деньги с книжки сняла, – сказал вдруг Петька (его мать работала в сберкассе). – Восемьсот пятьдесят рублей. Это на старые восемь с половиной тыщ. Неспроста это. Все сняла, до копеечки. Чую я – неспроста это.

– Неспроста... – Леша нахмурился и подался вперед. – Ты сегодня был у Светки или нет, а?

– Был, – сказал Петька. – Не было там никакого Жогло.

– Не было, не было, а потом вдруг появился? – Леша погрозил Петьке пальцем. – Чует он! Ты что, цыган, что ли, чтобы чують? Ты милиционер, а не цыган!

– Дядь Леш... – начал было Петька.

– Что – дядь Леш? Ты у нас милиционер или Робертино Лоретти? Дядь Леш... А если бы у него пуля была? У нас служба, Рыбаков! Служба! Тебя в разведку послали, а ты не пошел, товарищей подвел. А ведь Жогло мог нас поубивать... и меня, и Сырцова... Это хорошо, что Сырцов у нас такой меткий... – Леша откинулся на спинку стула. – Дурак ты, Петька, и когда поумнеешь? Женатый человек, а дурак.

Петька обиженно отвернулся.

Сырцов надел фуражку козырьком назад, отдал честь и захохотал.

– Страшная у вас работа, – продолжала Феня, поправляя огромную грудь. – Неужели вы с нее удовольствие имеете? Я бы легла и померла...

– Какое удовольствие... – Леша пыхнул папироской. – Удовольствие – это когда хорошо, а у нас что? У нас работа.

– Меня однажды в команду назначили, – сказал Миколайчук, морщась и бросая в рот гриб. – Расстреливать дезертира. Мальчишка совсем,

господи, а уже дезертир... Но ведь закон, понимаешь? Приказ! – Вздохнул. – Расстреляли. Налили нам после этого по сто пятьдесят, потом еще по сто, а удовольствия, братцы вы мои, – ни ерша, ни щучки... первый раз в жизни водку пил без удовольствия...

– За Георгия! – закричал Ноздринов, вставая. – Налей-ка! Тост говорить буду.

Феня улыбнулась Леонтьеву напомаженным ртом и стала разливать водку по стаканам.

– Тост, – повторил Ноздринов. – Не умею, а скажу... надо сказать... такое, значит, дело, что не хочешь, а надо... – Он помолчал. – Мне, товарищи, как говорится, скоро помирать... – Милиционеры загудели. – Тиха-а! Кто помирает тут, я или вы? Вот и молчите. Помирать... внук родился... когда внук родился, помирать легче... да... Вот, товарищи, какое странное дело... я ведь раза три помирал... или четыре... на войне помирал... и ничего, думал, привык уже, а выходит, что к смерти не привыкнешь... нельзя привыкнуть... – Он глубоко вздохнул. – Я много тут сейчас по ночам чего думаю... всякое думаю... – Помолчал. – Я вот все про космос думаю... люди в космос летают то по одному, а тут сразу по двое... Попович с Николаевым полетели парочкой... скоро, наверное, стаями летать будут... на Луне дома построят, жизнь заведут... я-то не увижу, а вы еще на Луне поживете...

– На Луне милиция не нужна, – сказал Петька.

– На Луне-то? – Ноздринов погрозил Рыбакову пальцем. – Нет, Петька, и на Луне милиция будет... у меня на фронте был один дружок, тоже Петькой звали, но умный, учитель математики, необыкновенной головы мужик, необыкновенной... любил поговорить про космос, про звезды и про все такое... он говорил, что космос – это порядок... – Ноздринов поднял палец. – Порядок! Посередине – солнце, по краям люди и всякие животные, растения и дома... а дальше родители... родители любят детей, дети – родителей, жена – мужа, брат – брата... это и есть порядок... вот что такое космос, братцы... Порядок! А где порядок, там и милиция. Так что милиция, братцы, это на самом деле не милиция, а закон природы. И чтобы люди про этот закон не забывали, им опять нужен милиционер... и светофор, конечно...

Милиционеры оживились: светофор был давней мечтой Ноздринова. Он каждый год писал начальству письма о том, что в городке нужен светофор, хотя бы один, чтобы обеспечить соблюдение транспортного движения, которое с каждым годом становится все напряженнее, переходит с конной и паровой тяги на бензиновую, а бензиновой тяге без светофора нельзя. В качестве примера, подкрепляющего его аргументацию, Ноздринов рассказывал о Виталии Носовихине, который выехал на своем мотоцикле на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, после чего в городке одним мотоциклом стало меньше, а Виталий лишился ноги и от страха стал закусывать водку дождевыми червями, а если бы висел светофор, то и мотоцикл остался бы цел, и дождевые черви живы...

Начальство, однако, на просьбы Ноздринова не отвечало.

– Когда человек видит светофор, – продолжал Ноздринов, – он сразу понимает, что живет не в диком лесу среди животных и зверей, а в населенном пункте, где есть порядок и закон. А если светофора нету, всякому могут разные глупости в голову прийти... то он жене под глаз засветит, то на стенку начнет мочиться и ссать в общественном месте... а увидел светофор – и сразу ясно: ага, нельзя, тут закон, а не цыганский

табор... Закон! – Ноздринов поднял стакан. – Давайте, товарищи, выпьем! За победу! За товарища Жукова! Ура!

Все встали и выпили.

– Устал говорить, – сказал Ноздринов, опускаясь на стул. – А ты, Алексей, молодец. И Сырцов молодец – не растерялся. Молодцы вы у меня тут, мужики. И ты, Петька, – ты еще молодой, у тебя все впереди... Ну, еще по одной! На посошок! А ну! За Георгия!

Снова выпили.

– Ну что, братцы? – Ноздринов вскинул руку, чтобы взглянуть на часы, и сбил локтем стакан. – Пора по домам, товарищи. Завтра на службу. У людей воскресенье, а у нас служба. Кто завтра на дежурстве?

– Я, товарищ капитан, – сказал Миколайчук.

– Ну вот и пошли... – Ноздринов встал, покачнулся. – Миколайчук, запевай!

И Миколайчук затянул «Катюшу».

Леша высадил Ноздринова у дома – начальник милиции жил в маленьком особнячке за рекой, неподалеку от Гаража.

– Ну, Николай Филиппыч, как говорится, спокойной ночи. И привет Георгию...

– Георгию... – Ноздринов усмехнулся. – Леша, что ты-то мне голову морочишь? Ну что вы все мне голову морочите, а?

Леша промолчал.

– Эх вы, собаки лысые... – Ноздринов закурил. – Жена ушла, дочка видеть меня не хочет... и к внуку меня, конечно, не подпустят на пушечный... я ж для них кто? Я ж для них, Леша, хуже негра. Хуже цыгана. Фашист я для них, а не Ноздринов. Пьяница, дебошир, мурло... а тут еще рак... доктора говорят, что это не заразно... что они понимают, доктора...

– Николай Филиппыч...

– Танька Сизова! – Ноздринов свирепо оскалился. – Танька Сизова – вот и все, что у меня, Леша, осталось. Знаешь Таньку? Танька на хрен Сизова, вот и все. Пехотная давалка у меня осталась. Левая грудь у нее отрезана, а правая – не грудь, а жидкость, смотреть не на что. Зато она не боится заразиться от меня. За десять рублей ложится со мной... за десятку, Леша!

– Новыми, что ли?

– Ну на хрен новыми! Ты что! Старыми, конечно. Новыми тут рубль. Ложится и сразу – дрыхнуть. Я уже давно не годеи ни на что, Леша, но я человек... ну да что ж, Танька так Танька... тоже ведь живая душа... какая-никакая – а живая... а жена сказала, что и хоронить не придет... ну и хрен с ними со всеми...

Ноздринов выбрался из мотоциклетной коляски и тяжело двинулся к дому. На крыльце вдруг остановился.

– Я завтра, может, не приду, Леша... совсем что-то я расклеился... – Помолчал. – Знаешь, если что, ты все-таки про светофор не забывай... светофор – он закон, понимаешь? Закон! И Ольге привет передавай... эх и дура она! Я ж ей еще когда говорил: выходи за меня – не пожалеешь, а она... – Махнул рукой. – Если б согласилась, может, и рака этого у меня не было б... а, да ладно... ехай, Леша, и смотри мне там... чтоб все, как говорится... понял? Ну и ехай, Леша, ехай...

Леонтьев загнал мотоцикл во двор и сел на скамейку покурить. Из темноты возник дед Семенов – босиком, во всегдашних своих

широченных кавалерийских галифе, с трубкой-носогрейкой в зубах и полевым биноклем на груди.

– Сапоги-то свои пропил, что ли? – лениво спросил Леша. – Чего босой-то?

У Семенова были хромовые сапоги, которыми он гордился. Даже летом, в жару, он не снимал сапоги, утверждая, что ногам в них прохладно, как у Христа за пазухой.

– Подбить отдал, – проскрипел дед. – Завтра заберу. Скучаю я по ним, Леша. Без сапог – как без рук, Леша... ты должен понимать... другие нет, а ты друг – ты должен...

Леша усмехнулся.

– Ну, если друг...

Лишь однажды Леонтьева видели разъяренным да еще с оружием в руках – когда в большом доме у железнодорожного переезда, между водонапорной башней и старым кладбищем, поймали и стали бить бельевого вора. Толпа распаленных мужиков стащила ворюгу с чердака во двор и, обмотав ему голову какой-то тряпкой, уже красной от крови, повалила наземь и стала добивать ногами. На помощь прибежали даже больные из ближайшей больнички – все как один в квелых байковых халатах. Следом за ними во двор ворвался на мотоцикле Леонтьев. Он заорал на мужиков, но те вошли в раж и послали милиционера подальше. Тогда он выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в воздух. Народ рассыпался и уставился на Леонтьева. «Даю честное слово, – тихо сказал Леша, – первый, кто его коснется, получит пулю в куда надо». Все молчали. Леонтьев отвез несчастного воришку в больницу. А потом того судили за попытку кражи десятка простыней и лифчиков, дали полтора года исправработ. «Вообще-то, если б он нас не остановил, – задумчиво проговорил дед Семенов, поймавший вора и затеявший драку, – нас бы законопатили за убийство. Справедливо, конечно, но неправильно». И на следующий день дед Семенов с соседями пришел к Леше с бутылкой водки – «проставляться» за то, что спас их от верной тюрьмы.

– Ну и кого ты там сегодня рассмотрел? – спросил Леша. – Шевелят-ся они там у тебя?

После 12 апреля 1961 года дед Семенов раздобыл где-то бинокль и стал каждую ночь изучать поверхность Луны в поисках жизни. И вскоре он эту жизнь нашел. Ему, конечно, никто не верил, а он твердил свое: на Луне жизнь есть. Три или четыре жизни – точно есть: мужчина, женщина и ребенок, а с ними, похоже, коза. Или собака. С такого расстояния трудно разглядеть, собака с ними или коза. Иногда население Луны увеличивалось, иногда убывало. Однажды дед Семенов увидел на Луне дом с трубой, из которой шел дым. В другой раз – кита, плывшего по лунному морю. «Смейтесь, смейтесь, – обиженно говорил старик. – Чудо-юдо... в чудо и дурак поверит, а вот юдо – для него надо особую настройку в душе иметь...»

– Корова там у них, – сказал дед, – с теленком. На наших похожи, только без хвостов...

– И хвосты разглядел? – Леша затоптал окурок. – Ну ты молодец. Скажи мне, дед, а на хрена тебе там жизнь, а? Тут со своей бы разобратся, а тебе еще и на Луне нужна...

– Одному-то, Леша, тоскливо, – сказал дед Семенов. – Один человек – не человек, а цифра. Когда хотя бы двое, они уже люди. А один даже и не поймет, человек он или что. Без народа человек неполный, Леша.

Я вот хожу к своей старухе на могилку, разговариваю – и мне легче. Она хоть и мертвая, но человек, а значит, мы уже народ...

– Заведи себе кого-нибудь, – сказал Леша. – Ты мужик еще крепкий, баб вокруг полно... а ты вместо этого на Луне счастья ищешь...

– Не, я счастья не ищу, – сказал Семенов. – Закусывай не закусывай, а наутро от него все равно голова болит.

– Ладно, дед, поздно уже. – Леша встал. – А на Луну свою ты смотри, да не засматривайся, не то мозги просмотришь. Луна – планета злая, желтая. Не люблю желтых.

– Тебя там Ася ждет, – сказал дед. – У тебя.

– Ася?

– Немочка. Давно ждет.

Ася спала на Лешиним диване – Леонтьев никак не решался купить кровать при живой жене. Девушка спала при верхнем свете, натянув на голову одеяло. Ее белоснежная нога – округлое бедро, крошечные пальчики, розовая круглая пятка – свисала до пола.

Леша выключил свет и вышел на цыпочках, скрипя сапогами. Он не понимал, почему это вдруг Ася осталась у него ночевать. Такого никогда еще не бывало. Что-то, значит, у них там случилось. Но думать об этом уже не было сил. Он бросил на пол в соседней комнате старую шинель, лег, подумал о белой Асиной ноге, повернулся на другой бок и уснул.

Ася была старшей дочерью Ольги Гофман. У нее были каштановые волосы, ярко-синие глаза, пушистые брови, сросшиеся на переносье, и искусанные губы стратотерпицы. Она была заикой. Учителя ее побаивались: отвечая у доски, Ася запинаясь, подчас не могла выговорить ни слова, и когда это случалось, ее лицо страшно перекашивалось, шея вздувалась, как живот у жабы, и от стыда она падала в обморок. Мать водила ее к логопеду, но это не помогало.

Отец ее был учителем физкультуры по прозвищу Анти-Дюринг. В городке его тихо презирали: этот красавчик с зачесанными на лысину кудрями любил лапать школьниц. Уроки он вел по пояс голым – мальчишки восхищались его мускулатурой.

По воскресеньям после футбола на стадионе устраивались спортивные праздники – их главным героем неизменно бывал Анти-Дюринг. Он быстрее всех бегал, поднимал самую тяжелую штангу и ловко жонглировал двухпудовыми гирями, играя мускулатурой – к восхищению женского населения. Антон Горячев, муж Светки Чесотки, однажды предложил учителю побороться. Их схватка переросла в драку, и Антон на глазах у всех утопил Анти-Дюринга в мелиоративной канаве, куда толевый завод сливал мазут. Тело учителя потом пришлось отмывать бензином, а Антона отправили на пятнадцать лет в мордовские лагеря.

После смерти отца нелюдима Ася вообще замкнулась. Сверстницы ее сторонились, а вот мальчишки не давали прохода: в тринадцать лет у Немочки были широкие женские бедра и высокая грудь. Но когда силач Сухарев попытался однажды ее обнять, она врезала ему коленом по яйцам, повалила на пол, схватила со стола карандаш, воткнула ему в нос и сломала. Окровавленный, обоссавшийся от боли и сорвавший голос Сухарев ползал на карачках по полу и шипел, пуская носом красные пузыри, а Немочка убежала домой, спряталась в подвале и разрыдалась.

Летом она уходила подальше от людей, подальше от городка – в лес, за Первую казарму. Однажды в заброшенном домике она наткнулась

на мертвую женщину. Женщина была голой, крупной и самой красивой на свете – так решила Ася. Она приходила в домик каждый день – с цветами, которые собирала по дороге, чтобы украсить тело единственной подруги. Странгуляционную борозду на шее подруги она перевязала алой шелковой лентой. Перед возвращением домой Ася укрывала мертвую куском перкаля, который стащила из дома, и забрасывала травой и ветками.

Ее тайну открыли дети железнодорожников с Первой казармы. Их поразила девушка, стоявшая на коленях перед мертвым телом, которое было покрыто трупными пятнами и украшено полевыми цветами, и что-то оживленно говорившая. А потом она запела – этого дети не выдержали...

Выяснилось, что Асины походы к мертвому телу продолжались полтора месяца. Полтора месяца – сорок четыре дня – она тайком от матери каждый день убегала в лес, собирала по дороге цветы, а потом часами разговаривала с мертвой женщиной. Немочку не смущали ни трупные пятна, ни усиливающийся запах. Возвращаясь домой, она повязывала на шею алую ленту и была счастлива.

Узнав про все это, Ольга Гофман заперла дочь на ключ, перестала с нею разговаривать и даже взяла отпуск, чтобы пересидеть стыд за дверями.

Несколько раз к Гофманам приходил Барин – следователь прокуратуры, носивший белый шелковый шарф, но Ася не желала с ним говорить. Она разговаривала только с Лешей Леонтьевым. Ему она рассказывала и о цветах, и об алой ленте, и о кассете с фотопленкой, которая закатилась под обломок бетонной плиты. Пленку проявили – на ней были запечатлены все участники попойки, устроенной в лесу и закончившейся изнасилованием и убийством. После этого прокуратура перестала интересоваться Асей.

Леонтьев же по-прежнему приходил к Гофманам, чтобы поговорить с Немочкой. Она почти не заикалась, когда рассказывала Леше об отце и его потных ладонях, о Наташе Ростовской и Печорине, об островах, затерянных в океане и населенных прекрасными людьми, которые обходятся без языка, потому что умеют читать мысли друг друга на расстоянии...

Ася сидела на стуле, чуть подавшись вперед, и говорила, говорила, а Леша слушал, не отрывая взгляда от ее рук, лежавших на коленях. У нее были красивые руки и красивые круглые коленки. Она перебирала слова, иногда путалась и сбивалась, находила нужное слово и вздыхала с облегчением... ей так редко приходилось разговаривать с людьми... голос ее день ото дня набирал силу, становился богаче, глубже, краше, он уже мог выразить и то, что таится в языке, но недоступно речи... может, это и было то самое настоящее и непостижимое юдо, о котором говорил нелепый старик дед Семенов...

Леша был зачарован Асиным темным голосом гораздо сильнее, чем ее рассказами об одиночестве, чудесах и прочитанных книгах.

Возвращаясь домой, он останавливался перед зеркалом и качал головой: «Тебе за сорок, а ей пятнадцать... тюрьма по тебе плачет, мудила, тюрьма или дурка...»

Ольга Гофман помалкивала, испытующе поглядывая на Лешу, а он только пожимал плечами: «Болтаем... надо же человеку выговориться...»

Однажды в прихожей Ася взяла Лешу за руку, и так они простояли молча в темноте несколько минут. В прихожей пахло керосином, вак-

сой – от Лешиных сапог, а от Немочки – детским потом и молочным шоколадом, и эти запахи преследовали Леонтьева весь день...

Каждый день Ольга и Ася приходили к Леонтьеву. Ольга обмывала Верочку, меняла белье, а Немочка мыла полы и занималась стиркой – ее не смущали ни простыни, испачканные фекалиями, ни Лешины трусы. Мать перестала следить за каждым Асиным шагом – хватало хлопот с младшей дочерью Ниточкой, милой дурочкой, которой и в пять, и в десять лет было три года. Ася больше не убегала в лес – лето она проводила на реке, купалась, загорала, читала. Мужчины и мальчишки поглядывали на нее – у Немочки было спелое тело, но не приближались: кто знает, на что способна девушка, которая полтора месяца разговаривала с трупом...

Леша проснулся от шума воды. Ася растопила плиту, занимавшую половину кухни, а сама умывалась под краном. Когда она подняла голову, Леонтьев увидел у нее под глазом синяк.

– Тебе яичницу или что, д-дядь Леш? – спросила она, глядя на себя в зеркало, которое висело над раковиной.

– Давай яичницу.

Ася набрала в чайник воды, поставила на конфорку, рядом пристроила сковороду.

Леонтьев закурил папиросу.

– Это кто тебя так? – спросил он. – Мать, что ли?

– Тебе т-три или пять? – Ася взяла из глубокой тарелки яйцо и занесла нож.

– Пять. – Леша погасил папиросу в медной пепельнице. – Я с ней поговорю...

– Она сказала, чтобы я шла к тебе...

Леша выжидательно молчал.

– Чтоббы я у тебя жила... чтоббы м-мы жили... чтоббы я насовсем... – Асина шея стала малиновой, голос ее сорвался. – Я к ней н-не вернусь, дядя Леша...

– Что у вас там произошло, Ася?

– Ничего. Но домой я не в-вернусь. Послезавтра последний экзамен, и в-все.

– Что все?

– Все.

– По какому у тебя экзамен?

– П-по немецкому.

– Что случилось, Ася? – снова спросил он.

– Н-ничего, – снова ответила Ася.

Она выложила яичницу на тарелку, не глядя на Лешу. А он принялся за еду, боясь взглянуть на Немочку.

Ольга Гофман открыла дверь не сразу. Не поздоровавшись, прошла в кухню, высыпала из банки на стол рис и села на табуретку.

Леша толкнул дверь в маленькую спальню. Шторы были задернуты, и Леша не сразу разглядел Ниточку. Она лежала на кровати, укрытая пуховым одеялом до глаз. Леонтьев сел боком на кровать, откинул одеяло и чиркнул спичкой. Ниточка попыталась улыбнуться, но у нее не получилось: губы, нос у нее распухли, под глазами набрякли синие мешки.

Леша дунул на спичку, провел ладонью по Ниточкиным волосам – девочка вздрогнула, – укрыв ее одеялом и вышел.

Ольга перебирала рис, не поднимая головы и пошмыгивая носом.

Леша опустился на табуретку напротив и выложил на стол обломок гребня, тот самый, что был зажат в кулаке у Сваровского.

– А я-то думала, где он. – Ольга придвинула к Леше пепельницу. – А ты, значит, нашел.

– Нашел. – Леонтьев закурил. – Вот, значит, в чем дело... в Ниточке, значит, все дело...

– Лешенька... – Ольга одним движением смахнула весь рис на пол – зерна с сухим шелестом рассыпались по линолеуму – и закрыла руками лицо. – Лешенька...

– Оля...

– Я ведь сама ему ключ дала... подожди, говорю, пока нас нету... Ася в школе, я на работе... и мысли не было... и мысли не было, Леша! – Она отняла руки от лица и подняла голову. – И мысли не было... – Сглотнула. – Мы вернулись, а тут он... и Ниточка... она же никому никогда зла не делала... никому... а он... Лешенька, он ведь как жаба с ней... как жаба... ящер какой-то, господи, а не человек... она ж совсем ребенок, Леша... то отец родной, то этот... за что ей так, Леша? Все из-за меня, из-за меня, Леша... как вышла за этого ящера, так и пошло... из-за меня все... а куда мне было деваться? Куда, Леша? Ты же знаешь...

Он взял ее за руку и крепко сжал.

– Оля, посмотри на меня. На меня, Оля! В глаза! Смотри мне в глаза!

Она обмякла.

– Сейчас ты отдашь мне топор... понимаешь? Топор. Заверни во что-нибудь и отдай.

Она кивнула.

– Топор, – повторил Леша. – И деньги. Понимаешь? Которые с книжки сняла.

Она снова кивнула.

– Никуда не ходи. Что надо – скажи мне, я принесу. Хлеба там или чего...

– Ася у тебя?

– Дома. – Леша покачал головой. – Оля ты, Оля...

– Не отпускай ее от себя, Леша, не отпускай. Она уже взрослая... ей восемнадцать зимой будет, на Крещение... она тебе детей нарожает... она хорошая девочка, только не отпускай ее от себя... двоих или троих... хоть четверых... нарожает, Леша... она ведь тебе нравится, я вижу, вот и пусть рожает... один, другой, третий... только держи ее при себе, Леша, чтоб всегда на глазах...

Леонтьев вздохнул.

– Неси топор, – сказал он. – Заверни только. И деньги давай сюда. Поскорее, Оля, мне еще на службу надо.

Пока она ходила за топором, Леша собрал веником рис с пола, ссыпал в банку.

Ольга принесла топор и деньги, завернутые в газету.

В прихожей Леша замешкался.

– Слушай, Ольга... а почему ты за Ноздринова не пошла, а? Он ведь звал...

– Дура была, вот и не пошла. Да теперь-то что говорить?

– Сходила б ты к нему, что ли. Совсем мужик один остался, а ему вот-вот помирать...

– Зачем?

– Сходила бы ты, – повторил Леша. – В последний раз.

– У нас с ним и первого не было.
– Тем более. – Помялся. – Так, значит, кто его – Ася?
– Леша... – Ольга всхлипнула. – Господи, да уходи же ты, Леша...
Он поцеловал ее в лоб. Ольга закрыла за ним дверь и без сил опустилась на пол.

К вечеру весь городок знал о том, что Леша Леонтьев купил знаменитую шубу. Снял с книжки триста рублей, добавил Ольгины и купил. Ольга принарядилась, подкрасилась, и Леша отвез ее к Ноздринову. А дома его ждала Ася Гофман, Немочка, та самая. Похоже, она переехала к Леонтьеву насовсем. К вечеру об этом знал весь городок.

А вот о чем никто не знал и так никогда и не узнал, так это о том, что тем же вечером Леша в конце своего сада закопал топор, которым был убит командир Сваровский. И только после этого пошел в дом, где его ждала Ася. Они поужинали и легли спать. Ася постелила в спальне – двуспальная кровать была только там – и легла у стенки, а Леша с краю.

Леша встал затемно, открыл окно в палисадник и закурил.

– Я тоже не сплю, – сказала Ася с тихим смехом.

Леша наклонился к ней, поцеловал в душистое полное плечо.

– Будет гроза.

– Ты разговаривал с матерью?

– Да. Когда у тебя экзамен закончится?

– Если пойду первой, то в десять.

– Надо съездить в загс, – сказал Леша. – Заявление подать.

– А я буду в белом платье? По-настоящему?

– Конечно, в белом. – Леша выбросил окурок в окно. – И в туфлях на каблуках. А еще бывает такая штука на голове... как шапочка с цветами...

– Это не шапочка, а венок. – Ася взяла его за руку, притянула. – Что она тебе сказала?

– Что сказала, то и сказала...

– И тебе все равно?

– Что – все равно?

– Все равно ты меня возьмешь за себя? – Ее голос упал. – Все равно?

– Все равно.

– Я никогда не думала... – Ася всхлипнула. – Я всегда думала, что скоро умру... я хотела умереть, Леша... чтобы насовсем... я думала, вот ты сейчас уйдешь, и я что-нибудь сделаю... а ты пришел, и я... и вот мы...

– Это называется юдо, – сказал Леша.

– Юдо?

Леша лег рядом, Ася прижалась к нему, засопела в ухо.

– Я когда маленький был, отец взял меня в гости... у него друг был – лесник, и вот к нему мы пошли за медом... в августе это было, на Спаса... день был хороший, теплый... а идти было верст семь-восемь, а то и больше... пешком, конечно... своего коня у нас уже не было, а велосипеды тогда только у богачей были, а мы деревенские, у нас и патефона то не было... – Помолчал. – Туда мы дошли хорошо... вышли рано, по холодку, весело шли, быстро... пришли – нас позвали за стол... пообедали, значит, отдохнули... там красивые места были – как в журнале... а потом набрали мы меда и пошли назад, опять пешком, конечно... дело к вечеру, а солнце жарит... пить хочется... я устал – не могу... мне же тогда было-то – десяти не было... отец у меня крепкий был – идет себе

и идет, как конь... я хныкать: есть хочу, пить хочу, ногу натер... отец вдруг остановился, посмотрел на меня с такой усмешкой и говорит: «Значит, жив», – и дальше пошагал... шагает не оборачиваясь, и я за ним... а потом втянулся... до сих пор помню и никогда не забуду этих его слов: «Значит, жив»... вся жизнь мне вдруг открылась, Ася, вся жизнь... никаких тайн в жизни нету... ну, то есть, конечно, да... но все это пустое, Ася... – Помолчал. – Вся наша жизнь, Ася, вся наша жизнь...

Он прислушался – в прихожей зазвонил телефон. Но Леше не хотелось беспокоить Асю, которая спала, уткнувшись носом в его плечо. Он знал, кто звонит в такую рань и почему. Он знал, что это Ольга звонит, чтобы сообщить о смерти Ноздринова. Ольга плакала, Ноздринов умер, топор был закопан в саду, от Аси пахло молочным шоколадом и потом, сердце билось сильно и ровно, голова чуть-чуть кружилась, мимо окон шел харьковский, светало, пламенело, болело, мучило, любило и обещало, обещало...

СВЕТОМ И ЖАРОМ

В конце нашей улицы стоял клуб бумажной фабрики – двухэтажное здание из красного кирпича под черепичной крышей, с зарешеченными окнами и летней верандой, обращенной к старому парку. Высокие вязы, могучие дубы, густые заросли орешника, извилистые оплывшие траншеи, в которых после дождя можно было найти патронные гильзы, простреленную каску или неразорвавшуюся гранату с длинной деревянной ручкой. Весной 1945-го немцы пытались здесь, в этом парке, остановить советские войска, наступавшие на Велау и Кенигсберг с востока, вдоль железной дороги, со стороны Гросс-Егерсдорфа, где за двести лет до того, в августе 1757 года, полуголодные солдаты Апраксина и Румянцева разгромили прусскую армию Левальда...

Добрую половину клуба занимал зал с паркетным полом и высоким потолком. В этом зале трижды в неделю крутили кино – на «Трех мушкетеров», «Крестоносцев» или «Бродягу» с Раджем Капуром билеты продавали не только в ряды, но и стоячие, то есть люди соглашались весь сеанс подпирать стену, а мальчишки запросто устраивались в проходах на полу.

По большим праздникам здесь проводились торжественные собрания – с речью директора бумажной фабрики, раздачей почетных грамот и премий под духовой оркестр, под тот же самый оркестр, который играл на всех похоронах, с концертом художественной самодеятельности, гвоздем которого были «Катины труссы»: в финале танцевального номера красавица Катя Недзвецкая так самозабвенно кружилась на одном месте, что ее юбки поднимались почти до пояса.

А после собрания и концерта все поднимались в буфет. В этой маленькой комнатке с прилавком помещались человек десять, если буфетчицу Зину, состоявшую из огромной груди и огромной задницы, считать за одного человека, а считать ее надо было за пятерых. Когда она подавалась к клиенту всем своим декольте, у мужчин, набивавшихся в буфет, начинали слезиться глаза. Схватив свои сто пятьдесят и конфетку, они бежали на лестницу или вниз, в бильярдную, где обычно и завершался вечер – под стук шаров, в папиросном дыму, крики и хохот игроков...

По субботам и воскресеньям здесь устраивались танцы. Из зала выносили кресла, на сцене включался проигрыватель или магнитофон, и сотни парней, принявших для храбрости портвейна «три топора», и сотни девушек, закапавших в глаза для привлекательности атропина, выходили на паркет. Танцев было два – быстрый и медленный. Твист и пареньки в коротких обтягивающих брючках и остроносых туфлях вскоре уступили шейку и мальчишкам в клешах и с волосами до плеч,

а на смену девушкам в блузках и туфлях-лодочках пришли босые пьяненькие оторвы в мини-юбках...

Медленные танцы были самым важным номером программы. Именно тогда и выяснялось, что Галя любит Мишу, потому что позволяет ему прижиматься и класть руку на попу, и Вере остается либо врезать изменнику Мише каблуком по яйцам, либо оттаскать Галю за волосы, либо поссорить Костю и Олю, после чего Костя, конечно, добавит «трех топоров» и попытается оттереть Колю от Ксаны, и вся эта история естественно перейдет в драку с участием множества парней и девушек которые будут бегать с криками по старому парку, кататься по земле, биться на дамбе, тянувшейся вдоль реки, или пускать в ход штакетины, с треском выданные из заборов по нашей улице...

Я приобщился к клубной жизни благодаря родителям – они брали меня с собой на торжественные собрания, поскольку дома оставить меня было не с кем, а потом стали давать деньги на кино. Однажды отец взял меня в библиотеку.

Фабричная библиотека занимала две комнаты, тесно заставленные полками с книгами. У входа стояла конторка резного темного дерева с настольной лампой и бронзовым чернильным прибором. За конторкой восседала величественная старуха Парамонова, костлявая и страшная. Ее внук нечаянно убил своего отца из охотничьего ружья, с перепуга спрятал тело в подвале, где мыши обглодали его добела. Старуха несколько дней ловила мышей, наевшихся человеческого мяса, «чтобы было что хоронить»: голые кости закапывать было стыдно. Но хоронить мышей ей не позволили родственники. С той поры она была неможко не в себе – то ни с того ни с сего смеялась, то вдруг начинала приплясывать посреди улицы, то напивалась в ивнях у реки в компании беспричинных людей, которые обещали сделать ей нового ребенка. Мне она казалась очень старой, хотя тогда ей не было и пятидесяти.

Дело свое, однако, она знала хорошо, и ее не трогали. Отец любил поболтать с нею о книгах, о журнальных новинках, и старуха Парамонова всегда придерживала для него свежий номер «Нового мира».

Пока отец разговаривал со старухой, я бродил между полками, читая названия книг, которые тотчас вылетали из головы. Вытащил из ряда толстый затрепанный том «Речных заводов», полистал, поставил на место. К книгам я не испытывал ни любви, ни ненависти, и их запах тогда вовсе меня не волновал. Вот в книжном магазине, который открылся на нашей улице, в самом ее начале, пахло потрясающе – новенькой резиновой стеркой, красками, клеем, чернилами, дешевой кожей – от портфелей и готовален. А в той части, где стояли книги, пахло печеным хлебом. Еще недавно здесь была булочная, где всегда клокотала очередь, злая и потная, следившая за тем, чтобы белого хлеба давали не больше «одного в руки», и отоваривавшая хрущевские талоны на пшеничную муку.

Никогда не видел, чтобы в новом книжном кто-нибудь покупал не школьные учебники, а, скажем, Пушкина или там Чехова, а уж тем более – классиков марксизма, под которых был отведен отдельный стеллаж.

Книжный бум в нашем городке начался после приказа Хрущева о сокращении армии. Ликвидировались военные училища, армии, дивизии, и книги из их библиотек хлынули на нашу Свалку – на гидропульперную площадку картоноделательного участка, одного из подразделений

бумажной фабрики. Днем и ночью сюда шли эшелоны с книгами, журналами, газетными подшивками, помеченными штампами и печатями воинских частей и училищ. Хорошо помню «сталинские» и «китайские» эшелоны, полностью забытые собраниями сочинений Сталина и Мао Цзэдуна.

И все это – Сталин, Мао Цзэдун, Пушкин, Гюго, Тургенев, Бальзак, Чехов, Толстой, Островский, Шекспир, Фадеев, Федин, Сергеев-Ценский, «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Советский воин», «Старшина и сержант», «Огонек» – размалывалось в кашу, в пульпу, которая по трубам подавалась на огромные машины, превращавшие Сталина, Пушкина и Стендаля в картон. Этот картон пропитывали пековой смолой – получался гидроизоляционный толь, которым обматывали нефтепроводы и крыли свинарники.

К прибытию эшелонов у Свалки собиралась толпа. Сторожа лениво покрикивали, но не мешали людям рыться в книгах и утаскивать домой какого-нибудь «огоньковского» Тургенева, собрание сочинений Золя или даже, черт возьми, Белинского, которого принес домой Костя Мавевский, слесарь мукомольного завода. Книги читали, а если не читали, то выстраивали из них стены в сараях, отделявшие мотоцикл от свиней. Впрочем, на эти цели обычно использовали какие-нибудь словари или книги на иностранных языках.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни, когда на Свалку доставляли отходы табачных фабрик, народу сбегалось не в пример больше. Мужики набивали карманы и хозяйственные сумки неразрезанными сигаретами, достигавшими иногда трех-четырёх метров в длину, и этого запаса многим хватало надолго. Человек, который выкуривал в день пачку «Примы» за четырнадцать копеек, выгадывал на отходах тридцать-сорок рублей в год – немалые деньги для того, кто зарабатывал около сотни в месяц. На книгах же ничего выгадать было нельзя – в городской и фабричной библиотеках их выдавали бесплатно. Разницу между земным и небесным, между пользой и баловством жители городка понимали с детства.

Дома у нас книг было мало, а те, что были – вроде «Обломова» или стихов Ду Фу, меня, понятно, не интересовали. Единственной нашей книгой, которая вызывала у меня неизменный восторг, были «Три мушкетера» без обложки, начинавшиеся с семнадцатой страницы. А вот у соседей можно было разжиться «Библиотекой фантастики и приключений», жемчужиной которой был, конечно, Эдгар По с «Золотым жуком» и «Убийством на улице Морг» и Дюма с романом «Сорок пять».

В фабричной библиотеке я боялся просить у старухи Парамоновой книги, но иногда она сама совала мне Жюль Верна или Станюковича, записывая их в формуляр отца. Фенимор Купер и Майн Рид всегда были «на руках», и впервые я прочел их в университете, когда надо было сдавать зачет по романтизму, так что оценить по достоинству новизну «Последнего из могикан» или «Всадника без головы» я уже не мог физиологически...

Позднее я узнал, что старуха Парамонова потчевала меня книгами из сострадания: я был единственным ребенком в городке, который носил очки.

Прогрессирующая близорукость на фоне общей физической слабости побудила врачей назначить мне по тридцать уколов алоэ, фибса и витамина В. Девяносто уколов. И это летом! Каждое утро я должен был

рано вставать и тащиться в поликлинику, стоявшую на другом краю широкой низины, в центре которой был устроен стадион. Я всегда оказывался последним в очереди из рыхлых толстух, которые подробно рассказывали друг дружке о своих болезнях, а когда им становилось скучно, начинали расспрашивать, чем таким я болен, что ношу очки, и какие уколы мне назначили. Тон у них при этом был такой, что мне слышалось: «Чем ты провинился, что тебя наказали очками?» Наконец процедурная сестра тетя Лида звала меня, ставила уколы и отпускала на волю.

Из узкого высокого здания поликлиники я выходил во двор, на другой стороне которого громоздилось массивное двухэтажное здание под черепичной крышей. Первый этаж этого здания занимали почта, междугородний телефон, милиция, сберкасса, а на втором располагалась городская библиотека.

Вот туда, в эту библиотеку, я однажды после поликлиники и отправился – скорее из любопытства, чем из любви к книгам.

Туда многие ходили именно из любопытства, чтобы поглазеть на двух красавиц – черненькую Катю Недзвецкую и беленькую Нину Кудряшову, которые работали в библиотеке и испытывали друг к дружке ненависть почти библейскую.

За год до моего первого появления в городской библиотеке наш городок был потрясен страшным преступлением. Вацлав Недзвецкий на глазах у всех убил Ивана Кудряшова. Это случилось после торжественного собрания, посвященного Первомаю. Катя Недзвецкая, как всегда, под бурные аплодисменты мужчин продемонстрировала залу свои прекрасные ножки и чистенькие трусы, раскланялась и уж было собралась уходить за кулисы, как вдруг Иван Кудряшов подбежал к сцене и бросил к Катиным ногам огромный букет цветов. Зал замер. Такого в городке не бывало никогда. Чтобы мужчина подарил цветы взрослой женщине, не жене и не учительнице его детей, а чужой женщине, пусть даже жене друга, да еще на глазах у всех, – нет, такого никто не ожидал. На Ивана смотрели как на Гагарина или Гитлера, а на опозоренную Катю и вовсе старались не смотреть.

После буфета, приняв по сто пятьдесят, Вацлав Недзвецкий и Иван Кудряшов вышли во двор, потом спустились к дамбе, где внезапно между ними началась драка. Недзвецкий вдруг выхватил нож и ударил Кудряшова в живот, потом в грудь, потом опять в живот и снова в грудь. Все произошло так быстро, что кричать люди начали только после того, как тело Ивана, скатившегося с дамбы, замерло на берегу у воды.

Участковый Леша Леонтьев забрал у Недзвецкого нож, осмотрел труп, при помощи добровольцев погрузил тело Кудряшова в мотоциклетную коляску и поехал в больницу. Мотоцикл медленно полз по улице, люди стояли на тротуарах, Иван в белой рубашке, заляпанной кровью, сидел в коляске, свесив голову набок, а убийца бежал за ними, размахивая левой рукой и пряча правую – страшную, окровавленную.

Суд приговорил Вацлава Недзвецкого к пятнадцати годам тюрьмы, Ивана Кудряшова похоронили.

Когда-то Кудряшovy и Недзвецкие были лучшими друзьями. Жили в одном доме, вместе ходили в кино и по грибы, вместе по выходным выпивали на берегу реки. Огромный Вацлав Недзвецкий был начальником цеха на бумажной фабрике, а жилистый Иван Кудряшов – электриком и чемпионом фабрики по шахматам. Женились они в один день

на подругах, выпускницах культпросветучилища. Катя Недзвецкая, в которой смешались крови русские и кабардинские, была худенькой, остроносенькой, бойкой, вспылчивой, а Нина Кудряшова – белокурой, курносой, полноватой, круглолицей, и характер у нее был мирный, мягкий. Их дети – Игорь Недзвецкий и сестры-близняшки Оля и Таня Кудряшова – вместе ходили в садик, вместе пошли и в школу.

Когда и при каких обстоятельствах дружеские отношения Ивана Кудряшова и Кати Недзвецкой переросли в любовные и было ли это на самом деле, никто, конечно, так и не узнал. Но после того как обе женщины лишились мужей, между ними началась война, которая не доходила разве что до рукоприкладства. Если раньше их дружбу можно было намазывать на хлеб, то теперь их ненавистью можно было опоить всех врагов коммунизма. Они поставили высокий забор на общем огороде, повесили занавеску на общей кухне и изрезали все общие фотографии в семейных альбомах.

Люди приходили в городскую библиотеку, чтобы потом рассказывать соседям о том, как Нина посмотрела на Катю и что та прошипела в ответ.

Вскоре Катя и Нина надели мини-юбки – первыми среди взрослых женщин в нашем городке. Мужчины сразу откликнулись на этот сигнал. Вдовец Веденеев являлся сюда почти каждый день и не скрывал интереса к овдовевшей Нине. А это злило Катю, которая была соломенной вдовой и не могла себе позволить отношений с мужчинами: при живом муже она словно вышла замуж за безжалостное общественное мнение городка, следившего за каждым ее шагом.

Но жизнь соседей интересовала меня – а было мне тогда, кажется, двенадцать – гораздо меньше, чем судьбы вымышленных персонажей, и в библиотеку я пришел, конечно, за приключениями.

Входная дверь уперлась в круглую железную печь, я переступил высокий порог и оказался перед конторкой, за которой сидела Нина Кудряшова. Когда я, запинаясь и путаясь, сказал, что хочу записаться в библиотеку, Катя Недзвецкая выглянула из читального зала и крикнула, что я еще не дорос до взрослых книг. Нина мягко улыбнулась, макнула стальное перо в чернильницу и стала оформлять первую в моей жизни карточку читателя. Потом повела меня в соседний зал – комнату, заставленную книжными полками. На ходу, плавно покачивая бедра, она перечисляла имена авторов и названия книг, которые мне будут интересны. Разумеется, это были фантастические, приключенческие и исторические романы.

Я открыл первую же книгу, прочел: «Звездолёт продолжал звать и тогда, когда до планеты осталось тридцать миллионов километров и чудовищная скорость “Тантры” замедлилась до трёх тысяч километров в секунду. Дежурила Низа, но и весь экипаж бодрствовал, сидя в ожидании перед экранами в центральном посту управления. Низа звала, увеличивая мощность передачи и бросая вперёд веерные лучи», и понял, что это именно то, чего я хотел. Звездолет, миллионы километров, пост управления, веерные лучи – о да!

Нина оставила меня в зале одного, и я принялся листать книгу за книгой. Збышек, выжимающий сок из дерева, Ян Жижка, слуга короля Вацлава, четыреста с чем-то градусов по Фаренгейту, фотонолеты и ионолеты, Спартак – предводитель гладиаторов, анатомия и физиология человека, биохимия клетки, берестяные грамоты, «Вокруг света на “Коршуне”», верный Шико под стенами Коньяка, Петр Великий,

угощающий артиллеристов трубкой в тени гигантского орудия, которое било по Нарве, – все это было вскоре проглочено, а кое-что переработано и усвоено. Ну, например, я навсегда запомнил, что охлаждать тяжелые пушки водой нельзя – только винным уксусом. Иногда мне кажется, что свобода человека как-то связана с его тягой к бесполезным знаниям...

Каждую неделю я набирал в городской библиотеке семь-восемь книг. Прочитав «Осудареву дорогу», брался за «Жерминаль», потом за черт бы его взял, «Фауста», после которого легко шли «Педагогическая поэма» и «Приключения бравого солдата Швейка», за ними с тяжким грохотом открывались врата угарных подземелий «Преступления и наказания», следом – обе пьесы Алексея Толстого, написанные в соавторстве с профессором Щеголевым, и завершался этот забег книгой Эйхенбаума «О литературе» или пособием по атлетической гимнастике.

В будние дни я ходил в библиотеку после школы, а в воскресенье, особенно летом, когда взрослые были заняты в огородах и на сенокосах, – за два-три часа до закрытия, чтобы порыться в книгах без помех. Библиотекарша за конторкой, старушка в читальном зале, годами изучавшая медицинскую энциклопедию том за томом, и я – больше никого в библиотеке в такие дни не было.

Иногда мне хотелось воспользоваться случаем и проникнуть в комнату, куда вход читателям был запрещен. Она находилась в конце того самого зала, где я бродил между книжными полками. Дверь, ведущая в эту комнату, была спрятана за плюшевой занавеской. Я уже слышал о запрещенных произведениях, о Солженицыне, например, и мне казалось, что там, за плюшевой занавеской, хранились именно такие книги – вся правда о жизни и смерти, вся магия и алхимия истории, скрытая от читателей, как скрыта была от нас вся темная сторона правды.

Как-то мне удалось случайно заглянуть за занавеску – я увидел стеллажи, на которых навалом лежали книги и газетные подшивки, маленький стол с чайником и тахту, угол которой торчал из-за книжных полок.

Когда-то главным в библиотеке был старик по прозвищу Мороз Морозыч, инвалид с большой белой бородой, передвигавшийся на костылях. Иногда его так мучили боли, что не помогали и костыли. Возможно, в такие дни он ночевал в библиотеке, в комнатке за плюшевой занавеской, и все мои фантазии о тайне и магии не стоили и гроша...

Однажды летом я пришел вечером в библиотеку, взял несколько томов Чехова – книги на букву «ч» находились в конце зала – и уже собрался уходить, как вдруг увидел на полу у плюшевой занавески мужские туфли. Это были остроносые «стиляжные» туфли – других таких в городке не было. Принадлежали они Ирусу, который когда-то был королем нашей улицы, кумиром мальчишек, веселым выпивохой и ловким драчуном, отсидевшим небольшой срок «по хулиганке», а теперь работал на пилораме, по вечерам дрался с толстой женой и гулял от нее налево и направо. Туфлями своими он гордился, надевал их редко и тщательно за ними ухаживал. С годами они почти сплошь покрылись заплатками и заплаточками, но Ирус говорил, что у него рука не поднимается их выбросить.

Я смотрел на туфли, стоявшие у двери, и слышал скрип тахты, надсадное дыхание и женские стоны, доносившиеся из-за плюшевой занавески. Через несколько минут раздался задушенный женский крик, и все стихло.

Я бросился вон из зала, положил перед Катей Недзвецкой стопку книг, она внимательно посмотрела на меня – от ее взгляда меня бросило в жар – и вписала три тома Чехова в мой формуляр. Теперь я понимал, почему она посмотрела на меня с такой тревогой, когда я пришел в библиотеку.

На следующей неделе я нарочно пришел в такое же позднее время, снова увидел туфли Ирусы у двери, опять услышал женские стоны, но на этот раз за конторкой сидела белокурая Нина, и она посмотрела на меня так же внимательно, как неделей ранее смотрела на меня Катя.

Судя по всему, Ирус поочередно спал с обеими женщинами, при этом вел себя по-мужски, как настоящий разбойник, никому не рассказывающий о своих сокровищах. Узнай об этом кто-нибудь в городке, Нину и Катю не спасло бы от срама и смеха даже самосожжение на площади.

Проникнув нечаянно в чужую тайну, комичную, нелепую и горькую, я просто перестал читать Чехова, Шолохова и Языкова, мысленно проложив границу в зале по полкам с Олешей и Паустовским. Да и вообще стал приходить в библиотеку в первой половине дня.

А в конце лета Ирусу циркулярной пилой отрезало правую руку, и он, решив, видимо, что это знак свыше, больше никогда не появлялся в комнате за плюшевой занавеской.

Читатели же заметили, что Катя и Нина притихли, словно взяли паузу в войне вдов. Ни обмена колкостями, ни презрительных взглядов, ни надутых губ – ничего такого, что напоминало бы о вражде и давало пищу сплетникам.

История эта, однако, не давала мне покоя.

Я думал о смуглянке Кате, которая, как мне уже было понятно, во все не так стара, чтобы хоронить себя заживо ради мужа, отбывавшего срок где-то на Севере. Она была непоседливой женщиной, которая не могла отдать воспитанию единственного сына Игоря всю себя, без остатка, как писали в романах. Я уже догадывался, что «без остатка» не бывает, пока человек жив, и вот этот остаток доводил Катю до отчаяния и мог довести до беды, пояись только в ее жизни хоть ничтожная трещинка, хоть какая-нибудь щелочка для зла. Чтение и жизнь среди книг еще никого не спасали от несчастья.

Я думал о ее муже, Вацлаве Недзвецком, который всегда считался примерным семьянином, любящим мужем и отцом. Он был хорошим начальником цеха, а уж найти в городке человека, который прочел бы книг больше него, было, кажется, невозможно. Говорили, что в юности он мечтал об артистической карьере, хотел поступать в театральное училище, но потом вдруг спохватился, окончил техникум и стал квалифицированным технологом целлюлозно-бумажного производства.

Я помню, как на концерте художественной самодеятельности он читал со сцены фабричного клуба монолог из какой-то пьесы, как ему аплодировали и как потом, после концерта, мужики со смехом похлопывали его по плечу и говорили: «Сам-то хоть понял, Слава, про что говорил, а? Но все равно – молодец, молодец...», а он, огромный медведище, слушал их с красным напряженным лицом и пытался улыбнуться, пока жена не взяла его под руку и не увела домой, и он покорно шел рядом с нею, по-стариковски шаркая ногами...

Тогда я не понял, что случилось. Недзвецкий читал со страстью, доходившей до надрыва. Непонятны были слова, непонятна была мука,

звучавшая в этих словах. Хорошо помню то чувство неловкости, которое я испытал, слушая взрослого человека, который выкрикивал со сцены что-то, казалось мне, постыдное, неуместное. Люди пришли в клуб вовсе не за этим. Они пришли посмотреть на его жену, на «Катины трусы», повеселиться, выпить в буфете свои сто пятьдесят и спокойно разойтись по домам. А тут вдруг – нате! И дело было не в словах, а в музыке его речи. Это была непривычная и неприятная музыка.

Запомнились лишь несколько строк из монолога, который читал тогда со сцены Недзвецкий. И только много лет спустя эти слова, лежавшие мертвым грузом в моей памяти, всплыли и встали на свои места в монологе Глостера из «Генриха VI», которого я прочел впервые:

Как заблудившийся в лесу терновом,
Что рвет шипы и сам изорван ими,
Путь ищет и сбивается с пути,
Не зная, как пробиться на простор,
Но вырваться отчаянно стремясь, –
Так мучусь я...

Понятно, чем и почему у Шекспира мучился герцог Глостерский, на какой-то миг испугавшийся того зла, которое рвалось из его души на волю и в конце концов завладело им безраздельно, превратив горбатого негодя в полубезумного убийцу и садиста Ричарда III.

Но чем мучился Вацлав Недзвецкий, заурядный начальник цеха бумажной фабрики в провинциальном городке, человек, который был женат на красавице, старательно исполнял свои служебные обязанности, дважды в месяц расписывался в зарплатной ведомости, сажал картошку, играл в шахматы, запоем читал, ходил с сыном на рыбалку и мечтал разве что о прибавке к жалованью? Откуда вдруг в нем эта страсть, эта мука, этот надрыв – из каких трещин и щелей души? И что клокотало в этой бездне, когда он выхватил нож и ударил лучшего друга в живот, потом в грудь, потом опять в живот и снова в грудь? И о чем он думал, что чувствовал, лежа ночью в лагерном бараке и вспоминая красавицу жену, тень, которая ждала его на другом краю бездны?..

Еще я думал об Иване Кудряшове, лучшем шахматисте городка, которого вдруг потянуло к Кате, и о его жене Нине думал я, о немногословной женщине, матери сестер-двойняшек, которая на кладбище притягивала все взгляды: обманутая жена и несчастная вдова, не проронившая ни слезинки – к неудовольствию городских кумушек. Она склонилась над телом мужа, лежавшего в гробу, поцеловала его в лоб и на глазах у всех расстегнула верхнюю пуговку на его рубашке, ясно давая понять, что не станет хранить верность его памяти. А взглядом, который она в воротах кладбища кинула на подругу Катю, можно было испепелить стадо коров...

– Сколько ж чертей в этом тихом омуте, – сказала Буяниха. – И один другого страшнее...

Наверное, именно тогда я начал понимать, что мы всегда будем стремиться к той незримой и подвижной грани, которая отделяет непознанное от непознаваемого, но перейти ее нам не дано...

«Бесы никогда не ходят поодиночке», – говорила моя бабушка.

Не успели Нина и Катя пережить разрыв с Ирусом, как в городке появился Михаил Михайлович Мусинский, учитель музыкальной

школы, необыкновенно красивое и эфемерное существо, ангел во плоти – ниспадающие на плечи шелковые кудри, огромные голубые глаза, длинные ресницы, пухлые губы, тонкие пальцы, точеный нос, фарфоровая кожа. Он учил детей игре на фортепьяно, говорил чуть задыхаясь и закатывая глаза и сразу стал любимцем женщин и мишенью для мужчин, которые прозвали его Мусей и отпускали в его адрес грубые шуточки.

Поселили его рядом с городской библиотекой, за стенкой, в комнатке на втором этаже, где стояли два стула, столик, железная койка и жестяной раковина. Готовить еду ему приходилось на электрической плитке, а в туалет ходить во двор, в дощатую будку на задах, среди лопухов. Но каждый день Муся выходил на улицу благоухающий, в отглаженных брюках и при галстучке.

Был он так невинен, так чист и свеж, что Буяниха, которая дважды в неделю забирала из музыкальной школы внучку, при встречах с ним стыдилась своего заштопанного лифчика, хотя видеть его Мусю, конечно же, не мог.

Вечера и выходные дни он проводил в библиотеке. Брал только поэтов – Тютчева, Фета, Веневитинова, Боратынского, Анненского, Тарковского. Устраивался за столом в читальном зале, в уголке, открывал книгу и погружался в чтение, иногда записывая что-то в тетрадь, которую приносил с собой.

Нина Кудряшова смотрела на его домашние тапочки, облежавшие его изящную стопу, и умиленно вздыхала. Катя Недзвецкая не могла оторвать взгляда от его сияющей фарфоровой кожи и тоже вздыхала.

Их взгляды и вздохи не остались незамеченными в городке. Читатели недоумевали: чем мог привлечь этот бесполоый с виду эльф молодых женщин «в соку», страстную худышку Катю и нежную телушку Нину? С их-то задницами! С их-то грудями!

Всех женщин умиляла его красота, но они считали его двухсбруйным, вроде Любаши-вохровки, охранявшей железнодорожный мост с винтовкой в руках и любившей «помять» свою младшую сестру-дурочку. Эту Любашу в пятницу, в женский день, не пускали в городскую баню. А мужики прямо называли Мусю «пидором» вроде гиганта Смагина, вернувшегося из тюрьмы с кличкой Дарья. С ним никто не здоровался за руку, чтоб не заразиться, и если он в Красной столовой садился за стол с кружкой пива, все переходили за другой стол.

И все соглашались в том, что Муся в сыновья годится обеим женщинам, а значит, между ними и быть ничего не может. К мезальянсу в городке относились непримиримо, делая исключение только для участкового Леша Леонтьева, который после смерти жены, сошедшей с ума еще во время войны, когда погиб их маленький сын, женился на семнадцатилетней Немочке. Но Леша был особенным человеком, настоящим мужиком, фронтовиком, из его щетины можно было гвозди делать, и сравнивать его с Мусей, чье личико явно не знало бритвы, язык не поворачивался даже у припадочных брехунов.

Несколько месяцев читатели следили за Ниной, Катей и Мусей, любовно выстраивая сюжет захватывающей истории, которая почти каждый день расцветала новыми деталями.

Мальчик поблагодарил Нину, когда она принесла ему чаю с печеньем, и проводил ее взглядом, замороженным видом ее роскошной задницы. Катя попросила Мусю донести до ее дома сумку с продуктами, и всю дорогу они о чем-то оживленно болтали, долго стояли у подъезда,

а потом, когда прощались, Катя наклонилась к нему, словно хотела поцеловать, но в последний миг передумала. Кто-то видел мужчину, который на рассвете покидал Катину квартиру, но утро было темным и туманным, поэтому лица любовника разглядеть не удалось. А кто-то клялся, что слышал стоны Нины, доносившиеся ночью из комнаты мальчика, хотя соседка говорила, что Нина всю ночь возилась с дочерью, отравившейся чем-то в школьной столовой.

Когда Мусю прямо спрашивали, что ему больше нравится – крепкое вино или сладкое молоко, Катя или Нина, он краснел и терял дар речи.

В начале весны к Мусе приехала мать, и по этому поводу в библиотеке устроили чаепитие. Катя и Нина надели нарядные платья и сделали прически. Они ухаживали за Мусиной матерью, подкладывая ей кусочки получше, а она, маленькая, кругленькая и говорливая, рассказывала, как трудно воспитывать восьмерых детей в одиночку. Ее муж – он был сталеваром – умер вскоре после войны от ран, старшие сыновья пошли на завод, три дочери, слава богу, вышли замуж, а Муся, самый младший, появившийся на свет после смерти отца, всегда был особенным: любил музыку и дружил только с девочками. Катя и Нина ахали, охали, то смеялись, то печалились, пили чай, пачкая чашки губной помадой, и ласково смотрели на Мусю, у которого на верхней губе трогательно белела полоска крема от заварных пирожных...

А на следующий день библиотека сгорела.

Второй этаж здания, в котором она располагалась, был деревянным. Огонь, вспыхнувший поздно вечером в комнате Муси, быстро проник в соседние помещения, от пола до потолка набитые бумагой, и через полчаса, когда приехала первая пожарная машина, все здание было охвачено пламенем. Почта, милиция, междугородний телефон, сберкасса, библиотека с пятьюдесятью тысячами книг – все сгорело, а что не сгорело, было залито водой.

У горящего здания собралась огромная толпа. Люди глазели на пожарных, а в сторонке стояли обнявшись две несчастные библиотекарши, Катя и Нина, и оплакивали бедного Мусю, пытавшегося приготовить ужин на неисправной электроплитке и погибшего в огне...

При пожаре погибли не все книги – некоторые удалось спасти, в том числе черный восьмитомник Шекспира с карандашными пометками Вацлава Недзвецкого на полях «Генриха VI» и «Юлия Цезаря». Уцелевшие книги перевезли на склад бумажной фабрики, где Катя и Нина несколько недель приводили их в порядок – разбирали, очищали от копоти, подклеивали, связывали в пачки.

Месяца через два городская библиотека открылась в другом месте, на первом этаже старинного здания, стоявшего неподалеку от проходной ракетной бригады.

В этом здании не было скрипучих деревянных лестниц и полов, не было железных печек, от которых зимой волнами шел пахучий жар и коробились книги, не было ступенек между комнатами, расположенными на разных уровнях, не было читального зала с неизменной старушкой, изучавшей том за томом медицинскую энциклопедию, не было древней конторки с чернильным прибором, не было, наконец, тайной комнаты с дверью за плюшевой занавеской и выдавшей виды тахтой. Да и Катя с Ниной казались в просторных и светлых помещениях какими-то другими, не такими, как прежде. Впрочем, может, дело было только в том, что я позрелел...

А в начале лета случился скандал, который сразу затмил и пожар в библиотеке, и смерть Муси, и слухи о похождениях красавиц-библиотекарш.

На сцену вдруг вышли дочери Нины Кудряшовой – сестры-близняшки Оля и Таня, и сын Кати – смуглый красавец Игорь Недзвецкий, а также Леша Леонтьев, бывший участковый милиционер.

Незадолго до школьного выпускного вечера Нина Кудряшова узнала, что ее дочери беременны, обе – от Игоря Недзвецкого. В тот же день Игорь признался матери, что соблазнил Ольгу и Татьяну Кудряшовых. Произошло это по ошибке, и часть вины за эту ошибку лежала на сестрах-близняшках.

Игорь давно ухаживал за Ольгой, и все в городке гадали, когда он сделает ей предложение – до призыва в армию или после, а в том, что сделает, не сомневался никто. И никто же не сомневался в том, что Ольга это предложение примет. Уверен был в этом и Игорь, особенно после того, как Ольга позволила ему все. Эта его уверенность иногда раздражала ее, и однажды тот бес, который таится в каждой красавице, подсказал, как проучить самоуверенного парня. Она отправила на свидание вместо себя сестру-близняшку Таню. Они и раньше шутки ради проделывали такой фокус, но на этот раз шутка зашла слишком далеко.

Таня в свое оправдание говорила, что должна была держать себя так, чтобы Игорь ничего не заподозрил, и откуда ж ей было знать, что отношения Игоря и Ольги уже не ограничивались поцелуями. Ольга, конечно же, не верила сестре, поскольку знала, что та втайне влюблена в Игоря. Но изменить уже ничего было нельзя: обе были беременны. Одна из них очень хотела верить Игорю, который клялся и божился, что сделал это по ошибке, другая ему, конечно, верить вовсе не хотела, утверждая, что он все сразу понял и знал, с кем обнимается на сеновале.

Игорь не отказывался от женитьбы на Ольге, но Татьяна, которая раньше молча завидовала сестре, теперь ни в какую не желала уступать парня сестре. В ней тоже проснулся бес, и этот бес был готов идти до конца.

Обе матери, и вспыльчивая Катя, и мягкая с виду Нина, были женщинами волевыми и твердыми, и дети, Игорь и близняшки, были готовы подчиниться воле матерей. Но ни Катя, ни Нина не знали, как решить проблему, подкинутую как будто самим дьяволом, который с самых древних времен использует в своих целях двойников и отражения в зеркалах.

Катя и Нина уложили детей спать, заперлись в кухне и всю ночь думали, что делать, и не придумали ничего лучше, как обратиться за помощью к Леше Леонтьеву.

Леша пользовался в городке непререкаемым авторитетом, хотя к тому времени вышел на пенсию, дослужившись всего-навсего до звания лейтенанта милиции. Человек, полагавшийся скорее на опыт и мужицкую смекалку, чем на закон и голый ум, мужик, прошедший всю войну, битый и тертый жизнью, он понимал, что преступление и преступник – не одно и то же. Это, конечно, понимал не только он, но Леша был одним из немногих, кто всегда поступал так, как понимал. Многие матери и жены поминали в своих молитвах участкового, который спас от беды их мужей и сыновей. Леша был своим по духу и крови, он сажал картошку, держал поросят и никогда не отказывался от стаканчика

самогона, поднесенного соседом, хотя сам самогон не гнал – это было запрещено законом. Люди по привычке шли к нему за помощью, и Леша никогда не отказывал.

Не отказал он и Нине с Катей.

Вечером женщины накрыли стол, выставили бутылку, встретили Лешу как дорогого гостя и заперли все двери и окна. Разговор затянулся допоздна.

Часа в три ночи Леша вернулся домой. Он шел посередине улицы, широко расставляя ноги и напевая «Темную ночь», иногда даже пу- скался в пляс, размахивал руками и хитро подмигивал бродячим соба- кам, а потом лег спать в садовом домике, чтобы не будить Немочку и детей.

И никто так никогда и не узнал, о чем они там все говорили и до чего они там все договорились. Но договорились, и этот их договор поверг всех читателей городка в изумление.

На следующий день тридцативосьмилетняя Нина Андреевна Кудря- шова и восемнадцатилетний Игорь Вацлавович Недзвецкий подали за- явление в ЗАГС. Через месяц их брак был зарегистрирован, и они стали законными мужем и женой. Свадьба была скромной, только для сво- их. Через полгода Ольга и Татьяна родили, а еще через полгода уехали учиться в университет, где вскоре вышли замуж – Ольга за однокурс- ника, а Татьяна за выпускника высшего военного училища – и, забрав детей, уехали – одна в Калугу, другая в Хабаровск.

Игорь осенью ушел в армию, писал письма матери, передавая при- веты Нине. Когда через два года он вернулся домой, Нина сказала, что теперь они могут развестись, чтобы Игорь мог строить свою жизнь как ему заблагорассудится. «Ладно, – сказал Игорь, – но ты мне долж- на ночь». Нина густо покраснела и кивнула: как-никак она была его женой. Через десять месяцев она родила двойню – двоих мальчиков. Игорь окончил техникум, потом институт, был инженером на бумаж- ной фабрике, потом затеял свой бизнес. Однажды он ушел от Нины, жил с какой-то молоденькой училкой, но через два года вернулся к жене и детям. Много лет спустя, умирая от рака, Нина сказала: «Это ужас- но, когда тело отказывает, становится безобразным, и ничего с этим поделаться нельзя». Игорь взял ее за руку и сказал: «Твое тело так часто доставляло мне радость, что ни о чем, кроме радости, я и сейчас не могу думать. Может, это и есть любовь?» Но Нина не успела ответить на этот вопрос.

А Катя – Катю после женитьбы сына понесло. Она пила и гуляла напропалую, словно намеренно сжигая себя. Сначала связалась с жена- тым офицером, потом с холостым нефтяником, которого сменил стар- шеклассник, а после него в ее постели кто только не побывал...

За две недели до возвращения Вацлава из тюрьмы Катя узнала, что у нее рак и жить ей осталось недолго.

Через две недели Вацлав Недзвецкий взял ключ, спрятанный под ковриком, открыл дверь и увидел Катю. Она висела в гостиной – в на- рядном платье, с подведенными глазами и накрашенными губами, в лучших своих туфлях, которые Вацлав подарил ей на годовщину их свадьбы. Туфли, впрочем, соскользнули с ее ног и валялись на полу.

Он поднял туфли, поставил их на стол в кухне, закурил и долго смо- трел в угол. Потом набрал воды в ванну, лег, вскрыл вены, прижал к груди туфли, закрыл глаза и отправился вслед за Катей, покинув на- конец страшный терновый лес, – свободный, наконец-то свободный,

он бросился вдогонку за прекрасной своей женой с туфлями в руках, которые она так любила...

Библиотека – это не книги, а люди. Люди, живущие среди книг и в книгах. Старуха Парамонова, которая ловила мышей, сожравших ее сына, мужики, тащившие со Свалки домой Гюго и Белинского, звездолетчица Низа, бросавшая вперед веерные лучи, Катя Недзвецкая, демонстрировавшая свои трусики залу, «Золотой жук» и «Заговор императрицы», Нина Кудряшова с ее роскошной задницей, расстегивающая верхнюю пуговку на рубашке покойного мужа, горбатый Глостер в терновом лесу, одорукий Ирус в заплатанных остроносых ботинках, Вацлав Недзвецкий, весь в крови, с туфлями жены в руках, Мусик, боящийся и крепкого вина, и сладкого молока любви, Игорь Недзвецкий у постели умирающей жены, подарившей ему так много радости, пьяненький Леша Леонтьев, приплясывающий на ночной улице, Буяниха, Любаша-вохровка, бродячие собаки, боги и герои, бесы и ангелы, добро и зло, свет и жар...

Книги доносят до нас свет и жар другой жизни, связывая поколения, и потому-то мы не умираем с каждой смертью, прирастая любой жизнью. Бывает, что книги горят, как люди, и иногда мне кажется, что и в этом проявляется Господень замысел о нас, о тех, кто путь ищет и сбивается с пути, и этот безжалостный замысел заключается, может быть, в том, чтобы наша память навсегда сохранила боль ожога, отвращение к тьме и жажду любви, а остальное – с остальным люди как-нибудь сами справятся...